

# Уильям Голдинг. Зримая тьма

Sit mihi fas audita loqui<sup>[\[1\]](#)</sup>

**Часть 1**

**МЭТТИ**

# ГЛАВА 1

В Лондоне, к востоку от Собачьего острова, был район, который даже среди окрестных кварталов выделялся своей разношерстностью. Между прямоугольников воды, окруженных стенами, между пакгаузов, железнодорожных веток и мостовых кранов протянулись две улицы убогих домишек с приютившимися среди них двумя пабами и двумя лавками. Туши грузовых пароходов нависали над домами, в которых звучало столько же языков, сколько жило семей. Но как раз сейчас говорить было почти некому – весь район официально считался эвакуированным, и даже вид подбитого и горящего корабля собрал совсем немного зевак. Над Лондоном высоко в небе висел шатер из бледных лучей прожекторов, утыканный черными точками аэростатов заграждения. Кроме аэростатов, прожекторы ничего в небе не находили, и казалось, что бомбы, сыпавшиеся на землю, таинственным образом возникают из пустоты. Они падали то в гигантский костер, то рядом с ним.

Люди у края костра могли лишь смотреть на неподвластное им пламя. Водопровод был разрушен, и единственной помехой на пути огня были попадавшие тут и там пепелища, выжженные дотла в прошлые ночи.

На северной стороне гигантского костра, рядом с изуродованной машиной, стояли несколько человек, замороженные зрелищем, которое даже им, людям бывалым, предстало впервые. Под шатром прожекторов в воздухе выросла новая структура, не столь четкая, как лучи, но намного более яркая – сияние, огненный сноп, на фоне которого тонкие лучи выглядели еще более тусклыми. Сноп обрамляли жидкие облачка дыма, подсвеченные снизу и от этого тоже казавшиеся пылающими. Сердце снопа, находившееся там, где раньше пролегали мелкие улицы, было светлым до белизны. Оно непрерывно дрожало, тускнея и снова разгораясь, когда рушились стены или проваливались крыши. И сквозь рев пламени, гул удаляющихся бомбардировщиков, грохот обвалов постоянно пробивались отдельные взрывы бомб замедленного действия: то вспышками над руинами, то глухими ударами из-под нагромождений обломков.

Людей, что стояли рядом с искореженной машиной у начала северной дороги, ведущей прямо в огонь, обезличивали общее молчание и неподвижность. Бомба, пробившая водопровод и изуродовавшая машину, оставила воронку ярдах в двадцати за ними. Из центра воронки, иссякая на глазах, еще бил фонтан, а длинный осколок бомбы, рассекший заднее колесо, лежал около машины и уже остыл настолько, что до него можно было дотронуться. Но люди не замечали ничего – ни осколка, ни фонтана, ни причудливых увечий автомобиля, ни многого другого, что в мирное время собрало бы толпу. Они смотрели перед собой прямо на сноп, в самое пекло. Они стояли поодаль от стен, так что упасть на них могла только бомба. Как ни странно, это была наименьшая опасность их ремесла – среди рушившихся зданий, погребов-ловушек, вторичных взрывов газа и бензина, ядовитых испарений из дюжины источников ее можно было вовсе не учитывать. Война началась недавно, но они уже многое испытали. Один из них был погребен взрывом бомбы и освобожден следующей. Теперь он относился к бомбам с равнодушием, приравнивая их к явлениям природы, вроде метеоров, которые в определенное время года падают густым потоком. Некоторые в команде были добровольцами. Один пожарный до войны был музыкантом, и его слух приучился безошибочно распознавать звуки, издаваемые бомбами. От той, что разорвала водопровод и повредила машину, он успел укрыться в последний момент – впрочем, вполне надежно – и даже не стал пригибаться. Сейчас его, как и всю команду, больше волновала другая бомба, упавшая дальше по дороге, между ними и огнем, вдавившись в грунт, – то ли бракованная, то ли замедленного действия. Он стоял у неповрежденного бока машины, глядя, как и все, на дорогу, и бормотал:

– Не радуется меня это, парни, ох не радуется.

Разумеется, не радовало это и остальных парней, даже командира, плотно сжавшего губы. То ли ему передавалось общее напряжение, то ли он так крепко стиснул челюсти, но подбородок у него дрожал. Подчиненные его понимали. Еще один доброволец – стоявший рядом с музыкантом книготорговец, который никак не мог поверить, что ходит в военной форме, – мог оценить, каковы их шансы на выживание. Когда как-то раз на него падала целая стена высотой в шесть этажей, он стоял в полном оцепенении и удивлялся тому, что еще жив. На него в точности пришелся один из оконных проемов пятого этажа. Как и остальные, он научился говорить, что ему страшно. Все пребывали в состоянии привычного ужаса,

когда жизнь зависит от завтрашней погоды, Замыслов Врага, относительного спокойствия или жутких опасностей следующего часа. Их командир без колебаний выполнял отданные ему приказы, но когда переданный по телефону прогноз погоды сообщал, что завтра налет невозможен, испытывал облегчение, доходящее до слез и судорог.

Итак, они стояли, прислушиваясь к гулу удаляющихся бомбардировщиков, – достойные люди, в которых сейчас пробуждалось чувство, что, несмотря на весь неописуемый кошмар, еще один день жизни им обеспечен. Они смотрели на содрогающуюся улицу, и книготорговец, зараженный античной романтикой, сравнивал панораму доков с Помпеей; но Помпею ослепило пеплом, а здесь все было видно слишком отчетливо, слишком много бесстыдного, бесчеловечного света в конце улицы. Завтра тут останутся черные, мрачные, грязные разрушенные стены, слепые окна; но сейчас света было так много, что даже камни казались полудрагоценными, словно в каком-то адском городе. За сверкающими камнями, там, где скорее не билось, а трепетало сердце пожара, все – стены, краны, мачты, даже сама дорога – растворялось в опустошающем свете, как будто в той стороне плавилась и пылала сама основа мира со всем, что хоть как-то способно гореть. Книготорговец поймал себя на мысли, что после войны – если настанет «после войны» – придется снизить плату за вход на Помпейские руины, так как в очень многих странах появятся свои собственные свежееиспеченные выставки развалин мирной жизни.

Короткий рев на мгновение заглушил другие звуки. Красный занавес пламени задрожал над белым сердцем пожара и тут же был поглощен им. Где-то взорвалась цистерна с горючим, или газ, скопившийся в угольном погребе, заполнил закрытое помещение, смешался с воздухом, достиг точки воспламенения... Наверняка так оно и есть, – подумал, как настоящий эрудит, книготорговец, чувствуя, что опасность пока миновала и можно понаслаждаться своей эрудицией. Как странно, – размышлял он, – после войны у меня будет время...

Он поспешно осмотрелся в поисках деревяшки, тут же нашел ее – кусок дранки от крыши, валявшийся рядом с ногой, – нагнулся, подобрал и отшвырнул прочь. Выпрямляясь, он заметил, как внимательно музыкант всматривается – именно всматривается, а не вслушивается – в огонь и снова бормочет себе под нос:

– Не радует меня это, парни. Ох как не радует...

– В чем дело, старина?

Все остальные тоже пристально вглядывались в пламя, сжав губы и затаив дыхание. Книготорговец обернулся, чтобы увидеть то, что видели они.

Неподвижное пламя, превращавшееся из бледно-розового в кроваво-красное и снова розовевшее, когда в него попадали дым или облачка, казалось извечным, словно такова была природа этих мест. Люди смотрели неотрывно.

В конце улицы – там, где, по всем человеческим представлениям, отныне заканчивался обитаемый мир, в точке, где мир превращался в жерло вулкана, где обрывки света сгущались, формируя то устоявший фонарный столб, то почтовый ящик, то причудливую гору обломков, – там, где кремнистая дорога превращалась в свет, что-то двигалось. Книготорговец отвернулся, протер глаза, снова посмотрел. Ему приходилось наблюдать, как оживают, попадая в огонь, неживые предметы: картон или бумага, подхваченные порывами ветра; материалы, съеживающиеся и распрямляющиеся от жара, имитирующие мускульные движения; накрытая мешком крыса, кошка, собака или опаленная огнем птица. Сразу же вспыхнула надежда, что это крыса – ну, или хотя бы собака. Он снова отвернулся, отгораживаясь спиной от того, чего упорно не желал видеть.

По странному стечению обстоятельств командир до сих пор ничего не заметил. Он не глядел на пожар; он глядел на подбитую машину, сдерживая дрожь подбородка. Его внимание привлекла подчеркнутая небрежность, с которой остальные один за другим отворачивались от огня. Те самые глаза, которые только что напряженно следили, как исчезает мир, теперь разглядывали банальные руины, оставшиеся от предыдущего пожара, и почти иссякший фонтан в воронке. Опыт и инстинкт, обостренные ужасом, заставили командира сразу же обернуться в сторону, противоположную их взглядам.

У самого конца улицы обрушилась часть стены, засыпав тротуар обломками – некоторые выкатились на мостовую. Один обломок с металлическим лязгом ударился об мусорный ящик на другой стороне улицы.

– Боже милосердный!

Тогда остальные снова обернулись.

Вдали затихал гул бомбардировщиков. Пятимильной высоты шатер из белых лучей разом, в одно мгновение, исчез, но сияние колоссального пожара было по прежнему ярким, кажется, стало даже ярче. Розовый ореол огня разросся. Шафрановый и золотистый оттенки сменились цветом крови. Пульсация белого сердца пожара ускорилась, перестала восприниматься глазом, и превратилась в ровное, неистовое свечение. Высоко над сиянием, между двух столбов подсвеченного дыма, теперь стала видна стальная, безупречно круглая луна, луна влюбленных, охотников и поэтов, а сейчас древняя и суровая богиня получила новую должность и новый титул – луна летчиков. Она стала Артемидой бомбардировщиков, еще более безжалостной, чем прежде.

Книготорговец поспешно заметил:

– Там луна...

Командир свирепо перебил:

– А где, по-твоему, ей быть? На севере? Вы что, ослепли все? Я, что ли, должен все замечать? Туда смотрите!

То, что казалось невозможным и, следовательно, несуществующим, теперь стало для всех бесспорным фактом: на фоне содрогающегося сияния обозначилась фигурка. Она двигалась точно по осевой линии дороги, которая вдруг стала длинней и шире, чем раньше. Потому что если она осталась такой, как прежде, значит, фигурка была до невозможности маленькой – до невозможности, поскольку детей первыми эвакуировали из этого района, а убогие разбомбленные улицы выгорели почти дотла, и ни одна семья просто не нашла бы здесь пристанища. Да и не бывает такого, чтобы из огня, который плавит свинец и корежит железо, выходили маленькие дети.

– Ну?! Чего ждете? Никто не отозвался.

– Вы двое! Приведите его!

Книготорговец и музыкант двинулись вперед. На полпути с правой стороны улицы под пакгаузом рванула бомба замедленного действия. Ее свирепая сила вздыбила тротуар на противоположной стороне дороги, ближайшая стена содрогнулась и рухнула в свежую воронку. Испуганные внезапностью взрыва, спасатели, спотыкаясь, бросились назад. Улица за их спиной исчезла в пыли и дыму.

Командир зарычал:

– А, черт!

Он бросился вперед, увлекая за собой других, и остановился только тогда, когда воздух расчистился и жестокий жар огня опалил кожу.

Фигурка приближалась к пожарным. Миновав свежую воронку, они разглядели ее совсем ясно. Ребенок был голым, и свет от многомильного пожара ложился неровными пятнами на его тело. Дети обычно ходят быстро; но этот малыш двигался по самой середине улицы каким-то ритуальным шагом, который, если бы речь шла о взрослом, можно было бы назвать торжественным. Командир, буквально разрываясь от жалости, увидел, почему ребенок шел именно так: его левый бок лоснился не от света. Еще более заметным был ожог на левой стороне головы, где от волос ничего не осталось; справа же они превратились в точки, похожие на перечные зернышки. Лицо ребенка настолько распухло, что дорогу перед собой он мог видеть только через крошечные щелочки. Вероятно, какой-то звериный инстинкт вел его прочь от места, где мир пожирался огнем, и только случай – счастливый или нет, кто знает? – направил малыша в единственном направлении, обещавшем жизнь.

Теперь, когда они оказались так близко, что ребенок перестал быть чем-то невозможным, а стал комком такой же, как они, человеческой плоти, их охватило отчаянное стремление помочь ему. Пренебрегая мелкими опасностями, которые могли таиться на улице, командир первым подбежал к ребенку и подхватил его уверенно и нежно. Один из пожарных, не дожидаясь приказа, поспешил в другую сторону, к телефону, до которого была сотня ярдов. Остальные плотно и неуклюже сгруппировались вокруг ребенка, лежавшего на руках у командира, как будто их присутствие могло чем-то помочь. Командир, чуть-чуть запыхавшийся, был полон сострадания и счастья. Он начал оказывать обожженному первую помощь, правила



которой врачи пишут заново чуть ли не каждый год. Всего через несколько минут прибыла санитарная машина, бригаде сообщили то небольшое, что было известно о ребенке, и машина укатила под завывание сирены, явно бесполезное.

Общее чувство выразил самый незаметный из пожарных.

– Бедный пацан!

И сразу же все с жаром заговорили о том, что это невероятно – когда из огня выходит малыш, совершенно голый, обожженный, но упорно стремящийся в ту сторону, где ждет спасение...

– Молодец пацан! Не потерял головы!

– Сейчас врачи творят чудеса. Видал тех пилотов? Говорят, теперь у них лица как новенькие.

– Левый бок у него малость съежится.

– Слава Богу, мои детишки далеко отсюда. И женка.

Книготорговец ничего не говорил, взгляд его был направлен в пустоту. На краю его сознания маячило воспоминание, которое он не мог уловить и осмыслить; он возвращался к тому моменту, когда ребенок только что появился и казался его слабому зрению не вполне реальным – словно колебался, принять ли ему человеческую форму или остаться частью мерцающего сияния. Апокалипсис? Что может быть более апокалиптическим, чем мир, пожираемый свирепым пламенем? Но ничего определенного вспомнить не удалось. Затем его отвлекли посторонние звуки – музыканта рвало.

Командир снова повернулся к огню. Он смотрел на улицу, которая в конечном счете оказалась не такой жаркой, как они полагали, и не такой опасной; потом он переключил внимание на машину.

– Ну? Чего ждем? Нас отбуксируют отсюда, если смогут. Мэйсон, попытайся освободить руль. Уэллс, выходи из ступора! Проверь тормоза. И поживее да повеселее!

Уэллс, забравшись под машину, разразился залпом ругани.

– Хватит, Уэллс, тебе за это деньги платят!

– Да мне масло, едрить его, попало прямо в рот!

Взрыв хохота.

– Так ты поменьше рот разевай!

– Уэлси, как оно на вкус?

– Вряд ли в столовке хуже!

– Ладно, ребята, кончайте! Аварийка за вас работать не будет!

Командир опять повернулся к огню. Он смотрел на новую воронку, появившуюся на дороге. С математической точностью расставив по местам то и это, он отчетливо понял, как все произошло и как могло бы произойти, и где бы он находился, если бы бросился к ребенку, едва увидев его и поняв, что тому нужна помощь. Он успел бы добежать как раз до того места, где сейчас не было ничего, кроме ямы. Он оказался бы точно на месте взрыва, и исчез бы навеки.

Из-под машины раздался лязг упавшей детали и новый взрыв ругани. Командир почти ничего не слышал. Ему казалось, что тело оледенело. Он закрыл глаза и какое-то время видел себя мертвым, или чувствовал себя мертвым; а затем понял, что жив, но только ширма, скрывавшая устройство мира, зашевелилась и сдвинулась. Потом его глаза опять открылись, увидели обычную ночь – если такую ночь можно назвать обычной, – и он догадался, что за холодок ползет по его коже, и подумал про себя с лукавой непосредственностью, свойственной его натуре, что не стоит слишком углубляться в подобные размышления, а малец все равно настрадался бы ничуть не меньше, и вообще...

Он обернулся к искореженной машине, увидел, что подъезжает тягач, и молча пошел навстречу, весь во власти необычайного горя – переживая не за изувеченного ребенка, а за себя, изувеченное существо, чей разум на мгновение прикоснулся к природе вещей. Его подбородок снова дрожал.

Ребенка называли «Номер Семь». Не считая некоторых необходимых процедур, выполнявшихся, пока он оправлялся от шока, седьмой номер был первым подарком, полученным малышом от внешнего мира. Была ли его немота врожденной, оставалось не вполне ясно. Слышать он мог – даже страшным на вид остатком левого уха, а опухоль вокруг глаз быстро спала, вернув мальчику способность видеть. Ему придумали положение, при котором не требовалось частых доз обезболивающих лекарств, и он проводил в нем дни, недели и месяцы. Несмотря на несовместимую с жизнью общую площадь ожогов, ребенок все-таки выжил и начал долгие странствия по больницам, подвергаясь одному осмотру за другим. К тому времени, как он начал произносить слово-другое по-английски, было уже невозможно выяснить, родной ли это для него язык или он набрался этих слов в больнице. У него не было иного прошлого, кроме пожара. В тех палатах, где он последовательно побывал, его называли «малыш», «крошка», «зайка», «пупсик», «солнышко» и «глупыш». В конце концов сестра-хозяйка, особа властная и влиятельная, решительно заявила:

– Нельзя без конца называть ребенка за глаза «Номер Семь». Неприлично оно, не по-божески.

Она была сестрой-хозяйкой старой закалки, пользовалась именно такими выражениями и умела добиться своего.

Соответствующее учреждение перебирало одну за другой все буквы алфавита, ибо ребенок был одним из многих, лишившихся детства. Одну девочку здесь только что наградили фамилией «Венэйблс». Юная острячка, которой велели придумать фамилию на «дубль-вэ», предложила «Виндап»<sup>[2]</sup>, припомнив вовсе не геройское поведение своего шефа во время воздушного налета. Выйдя недавно замуж и сохранив при этом работу, она чувствовала свою защищенность и превосходство над другими. Шеф поморщился и зачеркнул фамилию, представив себе, как ватага ребят станет вопить: «Виндап! Виндап!» Он сам придумал новый вариант, но остался не вполне удовлетворен и заменил его еще одним – безо всяких видимых причин. Просто имя, первым пришедшее ему на ум, будто выскочившее из пустоты, казалось недолговечным – словно он приметил его лишь потому, что оно, по счастливой случайности, свалилось ему прямо

в руки. Так, бывает, притаишься в кустах, и вдруг – раз! – перед тобой садится редчайшая из птиц или бабочек, позволяет рассмотреть себя и исчезает – отлетает в сторону, что ли, – оставляя чувство, что больше ты никогда ее не увидишь.

В следующей больнице у мальчика появилось второе имя – «Септимус», – но им почти не пользовались. Возможно, из-за созвучия со словом «септический». Его первое имя, Мэтью, превратилось в Мэтти, а так как во всех относящихся к мальчику бумагах по-прежнему писали «Номер Семь», фамилия Мэтти никогда не упоминалась. Впрочем, еще долгие годы его детства любым посетителям приходилось долго вглядываться, чтобы за простынями, бинтами и механизмами увидеть что-либо, помимо правой стороны лица.

Когда все бинты и повязки были сняты и Мэтти начал говорить чаще, стали заметными его необычные отношения с языком. Он чрезмерно артикулировал. При попытке говорить он стискивал кулаки и морщился, будто слово – это предмет, материальный, иногда круглый как мяч, который надо вытолкнуть изо рта, работая всеми мускулами лица. Были слова зазубренные, выходившие с ужасными болезненными мучениями, над которыми другие дети смеялись. После того как в период между первичной терапией и пластическими операциями – теми, какие были возможны, – с Мэтти сняли тюрбан, вид его полуободранного черепа и остатков сгоревшего уха был крайне непригляден. Терпение и молчаливость казались основными чертами его натуры. Мало-помалу он учился преодолевать связанные с речью мучения, пока мячи для гольфа и зазубренные камни, жабы и жемчуга не стали выходить изо рта без особых усилий.

В бескрайних пространствах детства время было для него единственным измерением. Взрослым, пытавшимся наладить с ним связь, никогда не удавалось сделать это при помощи слов. Он вбирал услышанные слова, надолго задумывался, иногда отвечал – совершенно невпопад. Для контакта с ним нужно было отказаться от рассудочного метода. Нянечка осторожно обнимала его, не дотрагиваясь до тех мест, где малышу было больно, и более-менее неповрежденная сторона его головы зарывалась ей в грудь в бессловесном общении. Казалось, что его трогает то, что его трогают. Вполне естественно, что девушка не осмысливала свои дальнейшие ощущения, ибо они были чересчур тонкими, чересчур личными, чтобы

называть их осознанием отличительных черт ребенка. Она не считала себя особенно умной или сообразительной, поэтому позволила этому осознанию существовать где-то в глубине и не обращала на него особого внимания, лишь понимая, что ей лучше, чем другим нянечкам, известна суть личности Мэтти. Она ловила себя на том, что мысленно произносит слова, которые для нее имеют совершенно иной смысл, чем для других.

«Вот Мэтти думает, что я могу находиться в двух местах сразу!»

Тут же она понимала, что смысл ее наблюдений рассеивается или лишается всякой точности из-за слов, в которые его произвольно облекает разум. Но понимание возникало слишком часто и сложилось в систему, которая в своем роде определяла для нее сущность Мэтти. Мэтти думает, что я – не один человек, а два. Потом, еще более личное – **Мэтти думает, что я привожу кого-то с собой.**

Ее душевная организация была достаточно чуткой, и она понимала, что это представление о Мэтти уникально и непоколебимо. Возможно, она ощущала известную чуткость своей души, занятой столь необычной работой. Как бы там ни было, она чувствовала, что привязана к этому ребенку больше, чем к остальным, и не скрывала этого, а другие дети обижались, поскольку она была очень симпатичной. Она называла его «мой Мэтти». При этих словах он впервые после своего появления из пламени попытался воспользоваться мускулами лица для общения. Его усилия были напряженными и мучительными, как будто маленькому механизму не хватало смазки, но конечный результат не вызывал сомнений – Мэтти улыбался. Однако его искривленный рот оставался закрытым, отчего улыбка получилась недетской и как бы намекала, что улыбаться можно, но это – ненормальное и даже порочное занятие, если предаваться ему слишком часто.

Мэтти собирались перевести в другую больницу. Он ждал отъезда с покорностью животного, понимая его неизбежность. Хорошенькая нянечка скрепя сердце рассказывала ему, как там будет хорошо. Она привыкла к расставаниям. По молодости она считала, что ему повезло, раз он выжил. Кроме того, она влюбилась, и это отвлекало ее внимание. Их с Мэтти пути разошлись. Она утратила свою душевную чуткость, поскольку не испытывала или не могла испытывать ничего подобного со своими детьми. Она была счастлива и не вспоминала о Мэтти долгие годы, пока к ней не

начала подбираться старость.

Мэтти зафиксировали в новой неподвижной позиции, чтобы пересадить кожу с одной части его тела на другую. Это довольно нелепое положение вызывало смех у других детей в ожоговой больнице, не имевших иных поводов для веселья. Взрослые приходили развлекать и утешать его, но ни одна женщина не могла пересилить себя и прижать неповрежденную сторону его лица к своей груди. И он больше не улыбался. Теперь для взоров случайных посетителей он был открыт почти целиком; их, торопившихся к своим несчастным родным, отталкивала уродливость страданий Мэтти, и они поспешно выдавливали натянутые улыбки, которые не могли его обмануть. Когда он, кое-как залатанный и освобожденный от бинтов, наконец встал на ноги, казалось, что улыбка покинула его навсегда. Мышцы на обожженном левом боку атрофировались и могли восстановиться только с ростом, так что пока он хромал. На правой стороне черепа выросли волосы, но левая представляла собой ужасную белесую плешь, которая выглядела настолько не по-детски, что заставляла забыть о его возрасте и обращаться с ним как с упрямым или просто тупым взрослым. Множество организаций окружило его своими заботами, но едва ли ему можно было как-то помочь. Его прошлое пытались выяснить снова и снова – без каких-либо результатов. Самые кропотливые поиски приводили к единственному выводу – он был порожден агонией горящего города.

## ГЛАВА 2

Из госпиталя Мэтти проковылял в свою первую школу, а из нее – в интернат для найденшей в Гринфилде, который финансировали два крупнейших британских профсоюза. Здесь он встретил мистера Педигри. Можно сказать, что их жизненные пути пересеклись, хотя Мэтти двигался по восходящей линии, а мистер Педигри – по нисходящей.

В прошлом у мистера Педигри осталось преподавание в старинной церковной школе, два менее почтенных учреждения и значительный период времени, который он именовал «заграничным путешествием». Мистер Педигри, сухопарый подвижный мужчина с волосами цвета потускневшего золота и тонким морщинистым лицом, выразившим озабоченность, когда оно не выражало раздражения или лукавства, к моменту появления Мэтти в интернате работал там уже два года. Вторая мировая война, так сказать, продезинфицировала прошлое мистера Педигри. Его неосмотрительно поселили на верхнем этаже школы. Он перестал быть «Себастьяном» даже в своих собственных глазах. Он превратился в «мистера Педигри» – неприметного школьного учителя, и в его редющих волосах появлялось все больше седины. С учениками он держался высокомерно и считал всех сирот, за несколькими исключениями, созданиями отталкивающими. Его классическое образование не нашло в Гринфилде применения, и он преподавал начальную географию вкуче с начальной историей и началами английской грамматики. Уже два года, как он обнаружил, что отрешиться от своей «эпохи» очень легко, и жил в мире фантазий. Он воображал, что ему всегда принадлежали два мальчика: один – образец чистой красоты, второй – низменное земное существо. Под его началом находился большой класс, в который собирали ребят, достигших предела своих умственных возможностей, и здесь они просто досиживали до конца положенного срока. Директор считал, что этой публике уже ничто не повредит, и, вероятно, был прав, если не считать тех мальчиков, с которыми у мистера Педигри устанавливались «духовные отношения». Ибо с приближением мистера Педигри к старости в этих отношениях появилась чрезвычайная странность, превосходившая любые отклонения от нормы с точки зрения гетеросексуальной личности. Мистер Педигри возносил ребенка на

пьедестал, и отдавался ему весь до конца – о да, до конца; и мальчику казалось, что жизнь прекрасна и все пути перед ним открыты. Затем, так же неожиданно, мистер Педигри охладевал к нему, становился безразличным. Если и разговаривал с ним, то только резким тоном; общение их было чисто духовным, без единого прикосновения к пергаментной щечке, и разве ребенок, или кто-нибудь еще, мог найти основания для жалобы?

Всем этим правил ритм. Мистер Педигри понемногу этот ритм постигал. Наступал момент, когда красота ребенка начинала поглощать его, преследовать, сводить с ума – медленно, но верно! В такие периоды нужно было вести себя очень осторожно – он то и дело ловил себя на том, что рискует, забывая о всяком здравом смысле. В присутствии другого лица, учителя или еще кого-нибудь, из его рта сами собой вырывались слова о том, что юный Джеймсон – чрезвычайно обаятельный ребенок, настоящий красавчик!

Мэтти не сразу попал в класс мистера Педигри. Сперва ему дали шанс раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Но больницы отняли слишком большую часть его жизни, подобно тому как огонь уничтожил возможную его привлекательность. Его хромота, двухцветное лицо и страшное ухо, едва прикрытое черной прядью, зачесанной поверх лысой половины черепа, делали Мэтти изгоем. Может быть, это содействовало развитию особой способности – если ее можно так назвать, – которая усиливалась в нем в течение всей жизни. Он умел исчезать. Он умел, как зверь, становиться незаметным. Были у него и другие таланты. Он рисовал – плохо, но со страстью. Склонившись над листом, отгородив его рукой и свисавшей со лба прядью черных волос, он погружался в рисование, словно нырял в море. Контуры на рисунке всегда были замкнутыми, и каждый из них Мэтти заполнял абсолютно ровным и чистым цветом. Это был своего рода подвиг. Еще он внимательно выслушивал все, что ему говорили. Он знал наизусть большие отрывки из Ветхого Завета, и поменьше – из Нового. Его ладони и ступни были слишком крупными для тонких рук и ног. Сексуальность Мэтти – что блестяще подметили одноклассники – находилась в прямом соответствии с его непривлекательностью. Он был высокомерен – и одноклассники считали это самым тяжким из его грехов.

Сотней ярдов дальше по той же улице располагалась монастырская школа Святой Цецилии, и участки обоих заведений разделял узкий проулок. Со



стороны девочек поднималась высокая стена с шипами наверху. Мистер Педигри видел стену и шипы из своей комнаты под крышей, и их вид навевал воспоминания, от которых его передергивало. Мальчики тоже видели стену. Из большого окна на лестничной площадке третьего этажа, рядом с комнатой мистера Педигри, можно было разглядеть за стеной синие платица и по-летнему белые носочки девочек. В **одном** месте те девочки, которые были попроказливее и посексуальнее других (что считалось одним и тем же), могли, приподнявшись на цыпочки, глядеть сквозь шипы. Со стороны мальчиков росло дерево, и, если залезть на него, юные создания могли смотреть друг дружке в лицо поверх проулка.

Двое ребят, особенно озлобленные высокомерием Мэтти – главным образом из-за собственной крайней низости, – с гениальной точностью и простотой решили сыграть на всех его слабостях сразу.

– Слышь, мы болтали с девчонками!

Чуть позже:

– Они говорили о тебе.

Еще позже:

– Энджи прямо втюрилась в тебя, Мэтти, она без конца спрашивает о тебе.

Потом:

– Энджи говорит, что прогулялась бы с тобой по лесу! Мэтти заковылял от них прочь.

На следующий день ему принесли записку, напечатанную на машинке, в соответствии со смутными понятиями о взрослом мире, и подписанную от руки. Мэтти изучил листок грубой бумаги, вырванный из тетради, такой же, как та, что он держал в руке. Из рта у него посыпались шары для гольфа:

– Почему она ее напечатала? Нет, не верю! Вы меня разыгрываете.

– Ну смотри же, вот ее имя – «Энджи». Наверно, думала, что ты не согласишься, если не подпишет.

Взрыв хохота.

Если бы Мэтти знал хоть что-нибудь о девочках школьного возраста, он бы догадался, что девочка никогда не прислала бы записку на такой бумаге. В этом состоит одно из ранних проявлений половых различий. Парень, если его вовремя не остановить, может написать заявление о приеме на работу на обороте старого конверта. Но если за перо и лист бумаги берется девушка, в итоге обязательно выходит нечто умопомрачительное: яркое, надушенное и разукрашенное цветочками. Тем не менее Мэтти поверил записке на клочке, вырванном из ученической тетради.

– Мэтти, она сейчас там! Она хочет, чтобы ты ей показал кое-что...

Из-под насупленных бровей Мэтти переводил взгляд с одного на другого. Неповрежденная сторона его лица покраснела. Он молчал.

– Честно-честно, Мэтти!

Мальчишки наседали. Мэтти был выше их, но сутулился. С трудом он выдал из себя:

– Чего она хочет?

Три головы приблизились к нему почти вплотную. Почти сразу же кровь отхлынула от его лица, и на бледном фоне еще заметнее проступили юношеские прыщи. Он выдохнул:

– Не говорила она этого!

– Ну честное слово!

Он переводил взгляд с одного на другого, разинув рот. Так человек, плывущий в открытом океане, поднимает над водой голову в стремлении увидеть землю. В этом взгляде был свет надежды, боровшейся с природным пессимизмом.

– Честное слово?

– Честное слово!

– Крестом клянешься?

Снова взрыв хохота.

– Вот те крест!

И опять этот упорный, заклинающий взгляд, движение руки, пытающейся отмахнуться от насмешки.

– Держите...

Он сунул им свои книги и поспешно заковылял прочь. Мальчишки вцепились друг в друга, кривляясь, как обезьяны. Затем бросились в стороны, громко созывая приятелей. Компания помчалась вверх по ступенькам – раз, два, три этажа, на площадку к большому окну. У длинного бруса, шедшего вдоль окна на высоте мальчишеского роста, все пихались, отталкивая друг друга, и хватались за вертикальные прутья, разделенные промежутками уже мальчишеского тела. Внизу, в пятидесяти ярдах от здания, к запретному дереву торопливо ковыляла фигурка. Напротив, над стеной с девчоночьей стороны, в самом деле показались два синих пятнышка. Мальчишки у окна были так поглощены зрелищем, что не слышали звука открывающейся двери.

– Что все это значит? Что это вы тут делаете?

В дверном проеме стоял мистер Педигри, нервно сжимая дверную ручку; его взгляд блуждал вдоль шеренги веселящихся ребят. Но никто не обращал внимания на старого Педрилу.

– Еще раз спрашиваю, что все это значит? Мои ученики тут есть? Эй, ты, кудрявенький, Шенстон!

– Это Винди, сэр! Он лезет на дерево!

– Винди? Какой еще Винди?

– Вон он, сэр, смотрите, он как раз карабкается!

– Вы жалкие, гадкие пакостники! Шенстон, ты удивляешь меня! Такой замечательный, честный парень...

Злорадный, ликующий хохот:

– Сэр, сэр, смотрите, что он делает!

Среди листвы на нижней ветке что-то происходило. Сексуальные синие пятнышки пропали со стены, будто их ветром сдуло. Мистер Педигри хлопал в ладоши и кричал, но никто из ребят не обращал на него внимания. Они посыпались вниз по лестнице, бросив его, пунцового и более возбужденного тем, что осталось за его спиной, нежели тем, что было перед глазами. Он посмотрел вслед мальчишкам в колодезь лестницы. Сказал в комнату, придерживая дверь:

– Ну хорошо, мой милый. Беги за ними.

Из комнаты вышел мальчик и, хитро улыбнувшись мистеру Педигри, стал спускаться по лестнице с сознанием собственной значимости.

Когда он ушел, мистер Педигри раздраженно посмотрел на мальчишку, неуклюже слезавшего с дерева. У мистера Педигри не было желания вмешиваться. Ни малейшего желания.

Директор узнал о случившемся от матери-настоятельницы. На его вызов явился мальчик – хромой, прыщавый и взбудораженный. Директору стало жалко его, и он решил замять дело. Выражения, в которых мать-настоятельница описывала происшествие, как бы набрасывали вуаль на это дело, и директору вроде как надлежало ее приподнять. Однако он почему-то этого опасался. Он знал, что за поднятой вуалью нередко открывается больше, чем рассчитывает найти исследователь.

– Так, садись. Ты знаешь, нам на тебя пожаловались. На то, что ты делал на дереве. Молодые люди – мальчишки – всегда лазают по деревьям, и я не об этом говорю... Но видишь ли, твой поступок может иметь серьезные последствия. Так что же ты там делал?

Неповрежденная сторона лица мальчика густо, глубоко покраснела. Он устался между колен в пол.

– Понимаешь ли, мой дорогой, тут нечего... пугаться. Бывает, что люди не могут с собой совладать. Если они нездоровы, мы помогаем им сами или находим тех, кто поможет. Но для этого мы должны все знать!

Мальчик молчал и не шевелился.

– Тогда покажи, если так тебе проще.

Мэтти взглянул исподлобья и снова опустил глаза. Он тяжело дышал, как после бега. Потом правой рукой взялся за длинную прядь, свисавшую у левого уха, и жестом полного самоотречения откинул волосы, обнажая мерзостно белый череп.

Вероятно, Мэтти повезло, что он не видел, как директор непроизвольно зажмурился и почти сразу же с усилием раскрыл глаза, не изменив выражения лица. Они оба помолчали, затем директор понимающе кивнул, и Мэтти, успокоившись, откинул волосы на прежнее место.

– Да, – кивнул директор. – Да. Понимаю.

Некоторое время он молчал, обдумывая формулировки, которые употребит в письме к матери-настоятельнице.

– Ну что ж, – сказал он наконец, – никогда так больше не делай. А теперь иди. И пожалуйста, помни, что тебе можно залезать только на большой бук, и то не выше второй ветки. Хорошо?

– Да, сэр.

После этой истории директор расспросил о Мэтти нескольких учителей, и выяснилось, что мальчика слишком пожалели – или, напротив, не пожалели – и он оказался в чересчур сильной группе. Он не мог сдать экзамены, и требовать от него этого было просто глупо.

Именно по этой причине однажды утром, когда мистер Педигри дремал, пока дети рисовали карту, в класс, неуклюже топоча, вошел Мэтти с учебниками под мышкой и остановился перед столом учителя.

– Боже милосердный! Откуда ты взялся?

Вероятно, для Мэтти вопрос был слишком неожиданным или слишком сложным, и он ничего не ответил.

– Чего тебе нужно, мальчик? Ну, быстро!

– Сэр, мне сказали – в комнату С-3, в конце коридора.

Мистер Педигри деланно улыбнулся и с трудом отвел взгляд от уха мальчика.

– А, вот ты кто – наш обезьяноподобный друг, скачущий по веткам. Эй, парни, не смеяться! Ладно. Ты как, обезьяна-то ручная? Не сбежишь? Ума палата?

Содрогаясь от отвращения, мистер Педигри обежал взглядом класс. В его обычае было рассаживать мальчиков по эстетическому принципу, чтобы самые красивые занимали первый ряд. Он ни мгновения не колебался, куда отправить новичка. С правой стороны у задней стены класса стоял высокий шкаф, за которым как раз оставалось место для парты. Шкаф не придвигали вплотную к стене, чтобы он не заслонял окна.

– Браун, сокровище, вылезай оттуда. Садись на место Барлоу. Ну да, конечно, он вернется – но тогда мы еще кого-нибудь пересадим. Браун, чертенок, я знаю, чем ты там сзади занимался, когда думал, что я тебя не вижу. Парни, утихомирьтесь! Не смей смеяться. А ты, как там тебя... Вандгрэйв! Будешь следить за порядком, понял? Сиди тихо в том углу и говори мне, если кто будет шалить. Иди!

Натянуто улыбаясь, мистер Педигри ждал, когда новичок сядет и скроется за шкафом. Потом удостоверился, что часть лица мальчика отрезана шкафом и ему видна только более-менее неповрежденная сторона. Он вздохнул с облегчением. Такие вещи были для него немаловажны.

– Тихо. Работаем дальше. Джонс, объясни ему, чем мы занимаемся.

Он успокоился и снова предался своей невинной игре – появление Мэтти дало ему повод для ее продолжения:

– Паско!

– Да, сэр?

Несомненно, Паско уже терял и без того невеликую привлекательность, какая была отпущена ему природой. Мистер Педигри мимоходом задумался – что он раньше находил в этом мальчишке? К счастью, их

отношения не успели зайти далеко.

– Паско, дружок, не согласишься ли ты поменяться местами с Джеймсоном, чтобы к возвращению Барлоу... Ты же не против того, чтобы сидеть чуть-чуть подальше от очей правосудия? А как нам поступить с тобой, Хендерсон, а?

Хендерсон сидел в центре переднего ряда. Он отличался безмятежной, поэтической красотой.

– Хендерсон, ты не будешь возражать, если мы пересадим тебя поближе к очам правосудия?

Хендерсон поднял глаза, улыбаясь горделиво и с обожанием. Его звезда восходила. Невыразимо растроганный, мистер Педигри встал из-за стола и, подойдя к Хендерсону, взъерошил ему волосы.

– Ишь какой чумазый! Когда ты в последний раз мыл свою желтую солому?

Хендерсон смотрел на него, продолжая уверенно улыбаться. Он понимал, что этот вопрос – вовсе не вопрос, а общение, знак особого отличия. Мистер Педигри опустил руку, стиснул плечо мальчика, потом вернулся за свой стол. К его удивлению, новичок за шкафом поднял руку.

– Что такое? Что тебе?

– Сэр, вон тот мальчик передал вот этому записку. Это же не позволено, верно, сэр?

От удивления мистер Педигри ненадолго потерял дар речи. Весь класс притих, осознавая чудовищность того, что они только что услышали. Затем по рядам пролетел, нарастая, гул неодобрения.

– Тихо, парни! Я сказал, тихо! Эй, как там тебя. Из какой глухомани ты явился? Ого, у нас теперь есть свой блюститель порядка!

– Сэр, вы же сказали...

– Мало ли что я сказал, ты, **педант**! Боже мой, ну и сокровище нам подбросили!

Рот Мэтти открылся и больше не закрывался.

Самое странное, что после этого Мэтти привязался к мистеру Педигри. Только недостатком общения можно объяснить то, что он повсюду таскался за учителем, раздражая его, – внимание Мэтти меньше всего требовалось мистеру Педигри. Как раз сейчас кривая его жизни шла вверх; в церковной школе, оставшейся в далеком прошлом, он еще не умел распознавать фазы своего ритма, но сейчас безошибочно чувствовал приближение критических точек. Пока он на весь класс восхищался красотой своего избранника – как бы откровенно ни выражались его симпатии, – все было в порядке. Но наступал день, когда он начинал с ним – не мог не начать – дополнительные занятия в своей комнате: это запрещалось, но опасность опьяняла; и там его жесты сперва тоже были невинными...

А именно сейчас, в последнем месяце семестра, природная красота Хендерсона достигла наивысшего расцвета. Мистер Педигри даже поражался, что источник этой красоты не иссякает, но продолжает бить год за годом. Этот месяц был странным и для мистера Педигри, и для Мэтти, который таскался за учителем с абсолютной непосредственностью. Его мир был так мал, а этот человек – так велик. Мэтти не догадывался, что в основе их отношений лежала шутка. Он был сокровищем мистера Педигри. Мистер Педигри сам так сказал. Одним детям приходится проводить годы в больнице, другим – нет, и точно так же, по наблюдениям Мэтти, одни дети выполняли навязанные им обязанности и стучали на товарищей, хотя в результате их все избегали, а другие – нет.

Соученики Мэтти могли простить ему уродливую внешность или забыть о ней. Но его педантизм, высокомерие и пренебрежение школьным кодексом чести делали его изгоем. Однако плешивый Виндап жаждал дружбы и таскался не только за мистером Педигри, но и за юным Хендерсоном. Хендерсон высмеивал его, а мистер Педигри...

– Не сейчас, Вилрайт, только не сейчас!

Неожиданно визиты Хендерсона в комнату мистера Педигри заметно участились и перестали держаться в секрете, а стиль обращений мистера Педигри к классу стал еще более вычурным. Это был пик кривой. На очередном уроке он отступил от темы и прочел целую лекцию о вредных привычках. Их очень, очень много, и от всех очень трудно избавиться. В



сущности – «и вы поймете это, когда подрастете», – избавиться от некоторых вовсе невозможно. Тем не менее важно отличать те привычки, которые считаются вредными, от тех, что действительно вредны. Например, в Древней Греции женщины считались низшими существами – не смейтесь, парни, я знаю, о чем вы думаете, гадкие мальчишки, – и подлинная любовь была возможна только между двумя мужчинами или между мужчиной и мальчиком. Бывало, мужчина ловил себя на том, что все больше и больше думает о каком-нибудь юном красавчике. Представьте себе, допустим, великого атлета – ну, вроде игрока в крикет в наши дни...

Юные красавчики ожидали, какая же мораль будет извлечена из этого отступления и как оно связано с вредными привычками, но так и не дождались. Голос мистера Педигри постепенно затих, рассказ не закончился, а скорее оборвался и мистер Педигри остался стоять с видом озадаченным и потерянным.

Люди удивляются, когда осознают, как мало им известно друг о друге. Точно так же они изумляются и досадуют, когда понимают, что те их помыслы и поступки, которые казались им скрытыми в непроглядной тьме, творились при ярком свете дня на глазах у всех. Такое открытие может ослепить и раздавить человека. А может и пройти без последствий.

Директор попросил мистера Педигри показать личные дела нескольких учеников из его класса. Они сидели за столом в директорском кабинете, спиной к зеленым шкафам; мистер Педигри многословно расписывал Блейка и Барлоу, Кросби, Грина и Халлидея... Директор кивал и листал личные дела.

– Я вижу, дело Хендерсона вы не принесли.

Мистер Педигри лишился дара речи.

– Знаете, Педигри, это крайне неосторожно.

– Что? Что неосторожно?

– Если человек испытывает специфические проблемы...

– Какие проблемы?

– Не стоит заниматься с мальчиками в своей комнате. Если вы хотите, чтобы они к вам приходили...

– О! Но это для его же блага!

– Вы знаете, что это запрещено. Уже ходят... слухи.

– Но другие дети...

– Не знаю, как, по-вашему, я должен это толковать. Все же постарайтесь не заводить... любимчиков.

Педигри выскочил из кабинета с горящими ушами. Он не сомневался, что стал жертвой изоощренного заговора; когда цикл его ритмичной жизни приближался к пику, он начинал подозревать всех и вся. Директор, – думал Педигри, смутно осознавая собственную неосторожность, – сам положил глаз на Хендерсона! И он стал обдумывать план, как пресечь любые попытки директора перебежать ему дорогу. Он отчетливо понимал, что самый лучший выход – пустить врагов по ложному следу, отвести им глаза. Размышляя, как поступить, он сперва отверг свой план как невозможный, потом как невероятный, наконец, как чудовищный, – и в конце концов понял, что этот шаг необходимо сделать, хотя критическая точка цикла еще не пройдена.

Он решился. Когда класс рассаживался, он обычно подходил к каждому ученику по очереди, но на этот раз, содрогаясь от отвращения, направился прямо в тот угол, где полускрытый шкафом сидел Мэтти. Мальчик улыбнулся ему половиной рта; Педигри передернуло, но он все же осклабил в пространство над головой Мэтти.

– Бог ты мой! Мой юный друг, разве это карта Римской империи? Это черная кошка в темном погребе! Джеймсон, подай-ка мне свою карту. Теперь видишь, Мэтти Виндрап? О боже! Послушай, я не могу сейчас тратить на тебя время. Сегодня у меня нет вечерних уроков, так что вечером приходи ко мне в комнату с учебником, атласом и всем остальным. Ты знаешь, где моя комната, да? Перестаньте ржать парни! А если будешь умницей, получишь сладкую булочку или кусок пирога... О Господи!

Неповрежденная сторона лица Мэтти словно осветилась солнцем. Педигри взглянул на него снова. Потом сжал кулак, легонько стукнул мальчика по

плечу и тут же поспешил к своему столу, словно ему не хватало воздуха.

– Хендерсон, мой милый, я не смогу дать тебе урок сегодня вечером. Но ты ведь обойдешься, верно?

– Что, сэр?

– Подойди сюда и дай свою тетрадь.

– Да, сэр.

– Сделаешь вот это. Понял?

– Сэр... Сэр, а занятий наверху больше не будет?

Мистер Педигри встревоженно глянул в лицо мальчику, оттопырившему нижнюю губу.

– О Господи! Слушай, Чумазик. Видишь ли...

Он запустил пальцы в волосы мальчика и притянул к себе его голову.

– Чумазик, дружок, даже лучшим друзьям приходится расставаться.

– Но вы же говорили...

– Не сейчас!

– Вы говорили!

– Послушай, Чумазик. В четверг я буду вести занятия в зале. Придешь ко мне со своей тетрадкой.

– Только потому, что я нарисовал красивую карту... Это нечестно!

– Чумазик!

Мальчик опустил глаза, медленно повернулся и сел за парту, уткнув лицо в книгу. Его красные уши могли соперничать с багровой кожей Мэтти.

Мистер Педигри сидел за столом, и руки у него дрожали. Хендерсон метнул в него взгляд из-под насупленных бровей, и мистер Педигри отвел

глаза.

Пытаясь унять дрожь в руках, мистер Педигри пробормотал:

– Я его еще утешу!

Из них троих только Мэтти был способен смотреть прямо, не отводя глаз. Свет заливал неизувеченную половину его лица. Когда настало время подниматься в комнату мистера Педигри, он даже позаботился тщательно уложить свои черные волосы, чтобы они скрыли белесый скальп и багровое ухо. Мистер Педигри отворил ему дверь с каким-то лихорадочным содроганием. Он усадил Мэтти на стул, но сам вышагивал от стены к стене, как будто ходьба могла уменьшить его мучения. Он заговорил, обращаясь не то к Мэтти, не то к какому-то невидимому взрослому, который был способен его понять; но едва он произнес первые слова, как дверь отворилась. На пороге стоял Хендерсон.

Мистер Педигри завопил:

– Уходи, Чумазик! Прочь! Я не могу тебя видеть! О Боже, Боже...

Из глаз Хендерсона полились слезы, и он с грохотом помчался вниз по лестнице. Мистер Педигри стоял у двери, глядя ему вслед, пока рыдания мальчика и топот его ног не затихли вдали. Но и тогда он продолжал стоять, опустив глаза. Порывшись в кармане, он достал большой белый платок и провел им по лбу и по губам, а Мэтти глядел ему в спину и ничего не понимал.

Наконец мистер Педигри закрыл дверь и, не взглянув на Мэтти, начал ходить кругами по комнате, что-то бормоча то ли самому себе, то ли мальчику. Он говорил, что самая ужасная вещь в мире – это жажда, и людям знакомы все виды жажды и все виды пустынь. Все люди страдают от жажды. Сам Христос взывал с креста: Διψώ[3] Человек не властен над своей жаждой, а потому и не повинен в ней. Упрекать людей за жажду несправедливо, вот в чем не прав Чумазик – это глупое и прекрасное юное создание, – но, впрочем, он слишком молод, чтобы понимать.

После этих слов мистер Педигри упал на стул возле стола и спрятал лицо в ладонях.

– Διψαω[4].

– Сэр?

Мистер Педигри не отвечал. Наконец он взял тетрадь Мэтти и, стараясь тратить поменьше слов, указал на все ошибки в его карте. Мэтти начал исправлять карту. Мистер Педигри отошел к окну и застыл, глядя поверх свинцовой крыши, над которой торчал край пожарной лестницы, на горизонт, где с недавних пор виднелись разрастающиеся пригороды Лондона.

Хендерсон не пошел ни на занятия в зале, с которых отпросился в уборную, ни в саму уборную. Он подошел к фасаду здания и несколько минут стоял у двери директорского кабинета – ясный знак всей степени его унижения, ибо в мире Хендерсона пренебрежение субординацией считалось серьезным грехом. Наконец он постучал в дверь – сперва нерешительно, затем погромче.

– Что тебе нужно, мальчик?

– Поговорить с вами, сэр.

– Кто тебя послал?

– Никто, сэр.

Эта реплика заставила директора поднять глаза, и он увидел, что мальчик недавно плакал.

– Из какого ты класса?

– Мистера Педигри, сэр.

– Твое имя?

– Хендерсон, сэр.

Директор открыл было рот, чтобы вымолвить «А-а!», но ничего не произнес и только прикусил губу. В его подсознании начала разрастаться тревога.

– Я слушаю тебя.

– Я... я насчет мистера Педигри, сэр.

Тревога вспыхнула буйным пламенем. Допросы, признания, вся эта тягомотина, доклады властям и, как итог, – суд. Этого человека наверняка признают виновным; но, может быть, дело еще не зашло так далеко?..

Директор посмотрел на мальчика долгим, очень пристальным взглядом.

– Ну?

– Сэр, мистер Педигри... Сэр, он занимается со мной у себя в комнате...

– Знаю.

Настала очередь Хендерсона онеметь от изумления. Директор понимающе кивал, а он тупо глядел на него. Директору оставалось совсем немного до пенсии, и усталость притупила его профессиональное рвение, вызвав желание отделаться от мальчика, пока тот не сказал ничего непоправимого. Разумеется, Педигри должен уйти из школы, но это можно организовать без лишних неприятностей.

– Очень мило с его стороны, – торопливо заговорил директор, – но, вероятно, тебя утомляют эти дополнительные уроки? Что ж, я тебя понимаю, ты хочешь, чтобы я поговорил с мистером Педигри, не так ли, я не скажу, что ты просил об этом, просто как бы выскажу мнение, что мы считаем тебя недостаточно выносливым для дополнительных занятий. Так что можешь не беспокоиться. Мистер Педигри больше не будет приглашать тебя к себе. Договорились?

Хендерсон покраснел. Опустив глаза, он ковырял носком башмака ковер.

– И мы никому не расскажем про нашу беседу, ладно? Я рад, что ты пришел ко мне, Хендерсон, очень рад. Знаешь, такие мелочи всегда можно уладить, если только вовремя сообщить о них... э-э... взрослым. Ну хорошо. А сейчас не вешай нос и иди на занятия.

Хендерсон не двигался. Его лицо покраснело еще сильнее и даже вроде бы разбухло; из зажмуренных глаз хлынули слезы, как будто они переполняли

его голову.

– Ну, что ты малыш! Все не так уж плохо.

Но все было гораздо хуже, чем думал директор. Ни один из них не знал, где кроется корень скорби. Беспомощно рыдал мальчик, и беспомощно смотрел на него мужчина; в нем росло неясное беспокойство, в котором он не смел признаться самому себе. Директор размышлял – разумно ли вот так вот отмахиваться от ребенка и его проблем, да и возможно ли это? Только когда поток слез почти иссяк, он заговорил снова:

– Ну что, полегчало? Слушай, мой милый, посиди тут немножко. Мне надо выйти – я вернусь через пару минут. А ты можешь уйти, когда захочешь. Договорились?

Кивнув и дружелюбно улыбнувшись, директор вышел и прикрыл за собой дверь. Хендерсон не воспользовался его приглашением сесть. Он стоял на месте, и румянец постепенно исчезал с его щек. Он шмыгнул носом, вытер его рукой. Затем вернулся на урок и сел за парту.

**Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:**

[Перейти](#)